



__ Chaumet Dandy,
русская серия
«Нормандия-Неман»,
2008



__ Герб полка
«Нормандия-Неман»,
вышитый на ремешке
Chaumet Dandy



__ Булавка «Арлекин»,
заказанная Анатолием
Демидовым у Chaumet, 1841



__ Ваза
«Париж—Москва»,
Boucheron, 1905

го столь же великого и прославленного монарха, равного героям древности, который вызывал бы такое восхищение в свое время и будет вызывать в грядущие века», — восторженно писал герцог Сен-Симон, вообще-то трезвый, точный и не склонный к преувеличениям мемуарист. Модники времен Регентства даже пытались подражать петровской небрежной манере одеваться, создав фасон «а-ля царь». Эта мода, как и положено, долго не продержалась, но французское Просвещение бредило подвигами демократичного и любознательного монарха еще десятилетия — вплоть до оперы Гретри «Петр Великий» (1790).

В России же «влеченье, род недуга» ко всему французскому расцвело только при дочери первого императора Елизавете Петровне. Тон задавала сама царица. На то были и политические причины: отец прочил маленькую царевну замуж за Людовика XV или хотя бы за одного из французских принцев крови, и несколько лет Елизавете пришлось морально готовиться к этому браку. В воцарении «дщери Петровой» сыграл известную роль французский посланник маркиз де Ла Шетарди, павлин, приехавший в Петербург с пышной свитой, драгоценными нарядами и сотней тысяч бутылок лучших французских вин в обозе, но бездарно провалившийся поставленную перед ним задачу втянуть Российскую империю в союз с Францией. И все же Елизавета Петровна в первую очередь была женщиной — политика политикой, но слава Парижа как законодателя моды что в одежде, что в развлечениях была для нее превыше всего. Ее дипломатическим агентам приходилось, отвлекаясь от государственных дел, рыскать по парижским модным лавкам; для ее придворных было обязательно являться на еженедельные представления французской комедии и на празднества, где покррой одежды и фасон причесок дам и кавалеров были строго регламентированы — как справедливо замечают историки, распоряжения царицы по этой части своей дотошностью напоминают не монаршие указы, а предписания модных журналов.

Во времена Елизаветы Петровны дети из аристократических семейств говорили по-французски с семи, а то и с пяти лет — российский рынок образовательных услуг уже по достоинству оценили самые предприимчивые из французских воспитателей. У следующего поколения поверхностное увлечение французскими модами понемногу сменяется на интерес к французской мысли. В царствование Екатерины II «петиметр», бездумно сыплющий галлицизмами карикатурный щеголь, — фигура уже комическая, а вот читатель французских философов, хотя бы и в переводе, — передовой, уважаемый человек. Дирижирует этим увлечением снова императрица, упивавшаяся эпистолярной дружбой с властителями европейских дум и ролью их щедрой покровительницы. «Мы втроем, Дидро, д'Аламбер и я, мы воздвигаем вам алтари: вы сделали меня язычником», — восхищается Вольтер. «Фернейский злой крикун», надо отдать ему должное, не только неумеренно кадил императрице в письмах, но и за глаза отзывался о ней,

как правило, без злоречия. Энтузиазм и эпическая щедрость императрицы по отношению к звездам галльской словесности впечатляли и всех остальных французов — впрочем, как и слухи о любовных похождениях «северной Семирамиды». Русские в Париже уже окончательно перестают быть экзотикой, хотя в популярных о ту пору во Франции названиях магазинов и кафе вроде «У галантного русского» чудится некоторая насмешливость. Энциклопедисты в конце концов жестоко разочаровали пережившую их стареющую матушку-императрицу. Это в молодости она, подавшись благородному порыву, предложила печатать запрещенную «Энциклопедию» в России. Обошлось, как известно, без ее помощи — может быть, и к лучшему, ибо каков был бы конфуз, если бы выросшие на идеях «Энциклопедии» французские революционеры были бы тем самым косвенно обязаны Екатерине II. По крайней мере, на словах царица и не винила своих любимцев в революционных ужасах: это, мол, виноваты лавочники, адвокаты и прочий сброд. Пока императрица хлопотала о создании антифранцузской коалиции, простые русские продолжали до поры до времени как ни в чем не бывало посещать революционную столицу — взять хотя бы «Письма русского путешественника» Карамзина, побывавшего в Париже в 1790 году и вполне мирно писавшего: «Веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений». Это после казни Людовика XVI ни о каких симпатиях к «притону разбойников», как с отвращением называла якобинский Париж царица, быть уже не могло. Но и революционный террор косвенным образом послужил только на пользу отечественной галломании — спасаясь от гильотины, в Россию хлынули многочисленные эмигранты, рассеявшиеся по всей стране от Петербурга до отдаленных дворянских гнезд. Это они учили «первое непоротое поколение» дворянских детей языку Расина и Мольера, это они иногда привозили с собой если не запрещенные книги, то запрещенные идеи, это благодаря такой ситуации, наконец, стало возможно невиданное дело: чтобы представителя передовой нации, почти что небожителя, могли снисходительно назвать «француз убогой». Александру I чуть ли не с начала его царствования напоминали: «Хотя ваша августейшая бабушка заслужила бессмертие в России, приобрела она его во Франции». Пока два императора, французский и русский, разыгрывали витиеватую шахматную партию на всевропейской доске, русское общество опять беспрепятственно следило за французскими модами. Пускай «Бонапарте» становился то другом самодержца всероссийского, то антихристом — это нисколько не мешало тому, что французский ампиризм пускал в России все более и более глубокие корни. Штофные обои и мебель Louis Seize переселялись на чердаки, а на смену им приходили торжественно-строгие цвета, «помпейский» декор и элегантная воинственность линий ампириной мебели. Пережив падение своего французского «идейного вдохновителя», русский ампиризм стал еще и стилем победы над